

## ФАЯ И БЕЛЕНЕЦ

Продольная флейта – инструмент женский, так мне казалось. Я представляла её только в женских ручках, и даже знала в жизни двух флейтисток. Они были разные, но обе похожие на свои инструменты. Фая и Беленец.

Да, это были две совершенно разные женщины, с разными судьбами, и музыкальными тоже, но обе не расставались со своими флейтами, и флейты были как бы их продолжением и наоборот, и я любила наблюдать, как женские пальчики касаются прохладных кнопочек, трогают их, ощупывают и смело пускаются в музыкальное путешествие.

Беленец была Снежная Королева, и звук у её флейты был такой же, «с леденцой». Она распахивала свои огромные крылья-локти, и как будто замирала, а когда приближала свой амбушюр к блестящему, холодному инструменту, губы её открывались, как кошелёк, и от дыхания, казалось, флейта покрывалась инеем.

Когда Лариска Беленец заканчивала музицировать, она тут же укладывала инструмент, разобрав его быстро, как автомат, не дав остыть, возбужденному ещё, нежному, и он лежал в темноте, защёлкнутый, переживая в одиночестве прекрасные музыкальные мгновения.

Была Беленец высока и стройна, у неё были большие и пухлые губы.

Ещё у Беленец были джинсы и модные батники.

Файка была возрастная, ей было уже 27. Перегидрольная головка, с остатками химии, сиреневые губы, и Файкина фишка – золотой зуб. Приехала она откуда-то из глубинки, кажется, из Тегульдета, и была остра на язык, её побаивались и обходили, на всякий случай. Утром Фая курила под училищенской аркой, и, когда мы, робкие первокурсники,

проходили мимо, она молча выпускала колечки перламутровым ртом и улыбалась..

Говорили, что Файка добрая, несмотря на язык, что всегда давала займы, и даже городские, чуть что, бежали к ней. Говорили ещё, что Файка калымит (как, впрочем, и все духовики), ходит «на жмура», (играет на похоронах, на музыкальном сленге), но я не могла представить её, Файку, среди чопорной, мужской, траурной компании, и мне казалось, что она должна быть впереди, с флейтой-горном, от звука которого вскочил бы даже усопший.

Каждый день Фая, в мини юбке, клетчатой, в складку, и в старых, толстых, на молнии, сапогах, пристраивалась где-нибудь в углу, «попиликать», как она говорила, вытаскивала-расчехляла свой инструмент и разминала «аппарат».

– Смари, порежу.. – Файка показывала язычок, шевелила им, как язычка. – Змеиный, – добавляла она, – отравлю..!

Потом она как-то вся выпрямлялась, глаза её менялись, темнели, чёрные нарисованные стрелки убегали куда-то вверх, и в какой-то миг происходило чудо – она выталкивала сиреневыми губами нежный, воркующий звук, и дальше звуки, прекрасные, выпархивали словно птенцы, расправляли крылышки, встряхивались, и улетали в вечность.. Закончив, Фая поводила плечами, оглядывалась..

– Че, бля, вылупились... – растерянно озиравалась она...

И мы, поражённые, разбредались молча кто куда, по своим коридорам и аудиториям. А она ещё долго держала флейту в руках, водила по ней руками, дула на неё, гладила, как будто не хотела расставаться, и аккуратно укладывала в футляр...

Файке пророчили консерваторию.

– Только не останавливайся, иди дальше, – говорили ей. Но Фая уклонялась от ответа, не отвечала дерзкой шуткой, и это было так не похоже на неё, она задумывалась, глаза её затухали, она розовела, то ли уходя в мечты, то ли понимая, что мечты эти так и останутся мечтами.

Беленец каждое утро прикатывала на такси. Ей тоже пророчили консу. У неё были для этого все основания, трудолюбие, какой-никакой дар, к тому же она была аккуратна и обязательна. Беленец любила деньги, но займы не давала, романы водила с себе равными, а перед самым выпуском закрутила роман с преподам по вокалу... Один раз Лариска даже солировала с симфоническим, и вместе с ней на сцене пел её препода, в малиновом бархатном пиджаке. Он смешно вытягивал губы и сверкал глазами, соединив руки на груди...

Беленец потрясала нас каждый день новыми нарядами. Курила длинные чёрные сигареты и стряхивала пепел длинным, с аккуратно покрашенным ногтем, пальцем.

Про Файкины любовные истории тоже кое-что говорили, например, что любит «малышей», первокурсников то есть... Она делала им гримаски, выпучивала и сводила к переносице глаза и показывала язык.

– Надо правильно воспитать мальчика, пока другие учительницы не подросли, – говорила Фая.

Хотя, всё же, это были только разговоры, – иногда за ней приходили какие-то мужики, совсем немзыкального вида, красные, крупные самцы.

Подходил к концу май, приближались академические, немножко все поутихли, коридоры опустели, только звуки невидимого оркестра, готовящегося сыграть заключительное тутти, не умолкали до глубокого вечера.

Первокурсники тряслись перед первым академом, молча репетировали, сидели на лестницах и по углам, и, если не было свободных классов, отрабатывали сложные места на спинках кресел и на коленках.

Выпускники, бледные и сосредоточенные, занимали классы с утра и перестали, наконец, обращать на нас внимание.

Фая засыпала с флейтой в руках, Беленец укатывала домой на такси.

– Иоганн Себастьян Бах. Концерт для двух флейт и оркестра. Исполняют... – строго зачитала ведущая...

Фая блистала. Она сделала причёску и раздобыла блестящее, всё переливающееся, платье. Глаза её горели, румянец, естественный, яркий, пробивался сквозь всю «штукатурку», которую Файка так любила, её флейта сверкала, парила в воздухе, и, казалось, никакая сила не разорвёт этот союз инструмента с человеком. Беленец, в чёрно-белом, как дикторша с телевизора, играла виртуозно, но оставалась холодна, глаза её круглые, с длинными чёрными ресницами, были удивлёнными, но тоже с холодком, цепкие тонкие пальчики впивались в нужные клавиши безупречными, отрепетированными пассажирами. Гармония и порядок исходили от Ларискиных аккордов.

А Фаины руки трепетали, непослушные локти взмывали вверх, они ликовали, вырывались вперёд, как будто забыв о приличиях и музкомиссии, а выпорхнувшие звуки летели в зал, дотрагивались до голов, обвивали шею.

Это был их триумф.

Беленец строго кланялась, смотрела круглыми птичьими глазами.

И Фая, Королева, со сверкающей фиксой и волшебной флейтой в руках.

Вечером препод по вокалу повёл Беленец в ресторан.

А Файка напилась водки, прямо из кружки, в общаге, примыкавшей крошечным флигелем к старому, уставшему зданию нашей альма-матер, бродила по маленькому заброшенному садику, спотыкаясь о выпавшие кирпичи, и к утру пришла вся зелёная и липкая, от пахучей, распутившейся листвы, но прижимающая флейту к груди.

Она не поступила. Много, что говорили, что талант есть, да, бесспорно, но «руку» переделывать надо, локти «гуляют», что «возраст», много молодых, тоже талантливых, и прочее...

Файка гулеванила три дня, рассказывала про большой город Новосибирск, всех угощала, показывала язык, и стаканами пила «Яблочное»...

А потом исчезла... Совсем. Может, вернулась в свой Тегульдэт. И были только слухи – разбила чью-то семью, родила сына, развелась, дома хозяйство, коровы, куры, попивает...

Но я всегда представляю её, даже среди кур, красивую, в серебряном платье, она идёт по бархатной траве, и за ней, распахивая калитки, всё божественное стадо, повинувшись звукам её волшебной флейты, и с ней птицы, передумавшие лететь на юг, и солнце, передумавшее садиться.

Файка так и осталась для меня Королевой, Королевой из Тегульдета.

Беленец тоже затерялась, закончила консу, пошла-поехала по столицам, говорили, «меняла мужей», побывала за «скрипкой, гобоем, и даже дирижёром» и, кажется, эмигрировала... Как-то я даже увидела её фото в журнале.

Но не сомневаюсь, у неё все хорошо.

## САМОКРУТКА РАЯ СТУПИНА

Рая Ступина, дочь Степана Ступина, профессионального забойщика скота, разделявавшего туши виртуозно, так что свинья или другая скотинка ещё успевала и возрадоваться перед смертью, («как крестом осенит, господи» – говорила бабка), помнила отцовский нож. Тот, и ещё много ножигов и ножичков вместе с ним висели в сарае, в специальном фартуке, сделанном из кожи, распластанном по дощатой стене и прихваченном крепко гвоздями. Райка складывала друг на дружку три берёзовых полешка, подтягивалась и аккуратно

дотрагивалась. Главный нож был острый, с ручкой, обмотанной залоснившейся кожей, с вмятинами от Степановых пальцев, Райка показывала его пацанам, Фоме и Федьке, тайком, потому, что отец не позволял. А однажды была история, которую всё же на мир не вынесли, скрыли, – тогда Фомка отцовский нож хотел украсть и отец его поймал, нож перехватил, и порез остался на ладони, шрам на всю жизнь... Арестовы – соседи, Фомка зверёныш у них, драчун, помахался – как в воздух, когда Степан его из рук выпустил, слюну пустил, да убежал, чуть штаны не потеряв. Степан обмотал руку. Порешили в семье не говорить Арестовым, те, богачи, считай, и Степан у них на хорошем счету, как забойщик...

Бабка, Степанова мать, приходила по субботам, шумно подымалась по крыльцу, стуча палкой, ею же подтягивала кривую табуретку, охая, распахивала старую «плюшку», откидывала платки, «душу наружу выпускала» и усаживалась посеред комнаты – чаю просила. Выпивала стаканов по пять. Утиралась.

– Кунку-то береги, – улыбалась, беззубая совсем, и смотрела на Раю хитро, смеялась, «как тряслась»... Рая не понимала, по телу растекался страх, липкий, сладкий, но что «беречь надо» – хорошо запомнила.

Иногда Рая ходила к ней помочь и ночевала. Бабка укладывалась долго, оставалась в рубаше, показывая тощие ключицы и крупные, круглые, по шее, бусы, с бечёвкой под ними и маленьким крестиком. Рая боялась её и про кунку не спрашивала. А бабка глядела, словно искала что, на Раю, и Рая прикрывалась руками...

– Прикрывайся, не прикрывайся... Придёт времечко – на спину-то ляжешь, – опять говорила бабка загадками и тряслась, и бусы перекатывались, стукались на тощей груди... Померла бабка когда, (Степан гроб состругал заранее), лежала в гробу маленькая совсем, как ребёнок, в старом холодае с тоненьким пояском, тканом, с именной молитвой, а всё глазом одним смотрела, – «Береги, береги...» – так Райке казалось.

Когда Рае было двенадцать, зажал её Фомка у дровеника и задрал платье. Райка, девчонка ещё совсем, отбивалась, и поленница посыпалась. Мать заругалась, что неправильно уложили, что не прокладывали «поперёк», «пошёл уклон», и Рая собирала, хлюпя носом, платье поднимала и смотрела, искала как будто какую отметину, изъян от фомкиных липких пальцев. Не могла понять, кунку уберегла ли? Затаилась Рая, в баню не стала ходить, ждала, пока мать выйдет, а тут изменения понятные начались, женские, она в сарай, за нож – «Не уберегла!..» Только мать успела, перехватила, случайно, а что – понять не могли, так поили травой Раю, отварами, Шумилиху звали, но так и не

прознали, что с девкой... Но прошло всё, забыли. Только нож выше повесил Степан, гвоздей понабил и перевесил... У Степана глаза голубые, в «чёрточку», «словно облака в глазах», говорила Рая, ластилась к отцу. На работу – всегда в чистом Степан, а возвращался – так в баню, мать подтапливала, а сама замачивала степаново, стирала, Райка помнит эту воду, розово-мутную, мать в картошку выливала, говорила, расти лучше будет... А в доме всегда было мясо. Разделявали вместе. Рая все жилки-прожилки помнит, помогала. А как нажарят – так красота!! И пар из тарелок, и в носу щекотно... Ели молча, медленно... Так жили до войны, пока мужиков на фронт не забрали, тогда опустела деревня. Утром рассветы, белые как молоко, в тишине вёдра брякают, женские голоса через забор, а вечерами шили-вязали, кисеты, рукавицы солдатам – по вторникам первого месяца машина приходила, всё грузили в мешки и отвозили в район, потом на фронт... Правда, зимой Галина Ступина, жена Степана, однажды варежки с зелёной ниткой (что она со старых своих распустила) увидела на жене главрайкома, продовольственника, не дошли, значит, до бойца, но ничего не сказала, застыдилась даже, всё же начальство, – пушай носит!.. А нитка, она уж не помнит откуда такая взялась яркая, прямо как горела, хоть ночью гляди... А ночи бежали, как и дни: – У Мотаевых муж вернулся! – бегали дети от избы к избе, накрутив на палку звезду-пропеллер, крутящуюся... – Целый!! Целый!! Целыыыы-ы-ый... – висело над деревней... Гудела деревня. Из голубятни голубей повыпустили. В одной избе песни – в другой ставни закрыты... Степан вернулся, целый.

Молодежь послевоенная в клубе собиралась. Гармонист Федя тянул тальянку, пальчики его как молоточки, ловко цепляли белые клавиши, и тальянка ощеривалась, вот-вот язык высунет, красный, ситцем подштопанный, клоком с матеиноного халата. А мне милёнок изменил, А я сказала – Ох, ты! А у тебя одни штаны И то из моей кофты... Эх, хороша была Райка, платье красное, с цветками по полю, (правда, надставленное снизу, вытянулась Райка), ещё платок в руке, да пойдёт с частушкой – как наступает, и платочком по лицу парня, по лицу – щекочет... А Федя играет, картуз на одном ухе держится, и кудри с под него наружу уложены, по моде... «Форс!» – мать говорила... Хорош Федька, тоненький, чубастый, и лицо такое бледное, с родинкой на щеке... На артиста похож... Фома на Галку заглядывается, уже повзрослому, а ей Федька нравится, чуб его, и Федька тоже поглядывает, стесняется, зыркнет, и дальше на гармошке наяривать, локти в стороны, задымится только... Раз после вечерки, осмелился – Пойдём на Яр! – покраснел, и Райка тоже залилась краской, на Яр парни девок приглашали на понятное дело, пообжиматься, плохое место это было, нехорошее даже, но пошла, а на Яру бело всё, лабазник поднялся,

медовый запах в нос бьёт, в голове кружит, и там прислонил её Федя – прижал, да так, что всё само и произошло, и быстро так, и испугалась Галка, долго мылась в реке, и Федька с ней мылся, молча... Как отмывались, что даже в глаза друг другу не смотрели... – Иди одна... – только сказал Федька, и свернул, к просеке, срезал, пошёл, прямо по ромашкам, ломая тонкие ромашечьи стебелёчки.

– Ты что думаешь? – говорила мать. – Фому-то уведут, мигнуть не успеешь, вон в очереди стоят девки. Причепурились...

Отец вторил:

– Семья достаточная, коли глаз положил, объединяться надо, чево тянуть быка за рога.

Пропили Райку без обрядов, тихо, Арестовы принарядились, да Шумилиха посидела, потихоньку, прибаутки свои прошамкала, беззубая. Готовиться стали. Степан хороший отрез, крепдешиновый, за работу взял, сшили Рае платье, с оборками. Просватанная теперь. Всё на виду. А она сохнет, щёки впали, Федьку вспоминает, что было меж ними, и тянет её на Яр... Сядет – сидит, на реку смотрит, как счастье её девичье уплывает, цветки кипрея в пальцах разотрёт, понюхает, поплачет, и домой... А Фомка на вечерках уже гоголем себя держит, важничает. Домой к Ступиным приходит, рубаха сатиновая, новая, блестит вся... Раз с утра чаевничали Ступины, и из Раи вырвалось всё назад, прямо на платье вышло, на скатерть, так что из-за стола Рая убежала... Мать только посмотрела, да промолчала...

На последней неделе приехали с района три телеги, завезли груз продовольственный, по лавкам распределяли, и вся деревня сбегалась смотреть, что привезли, да куда. Старьёвщик по этому делу свистульки раздавал, и дети дули, все, разом, что в ушах у Раи заложило. Там Рая Федьку и увидела, и к нему прямо ветерком её подхватило, подтянуло, а тот отвернулся, родинкой своей блеснул и отъехал. «Но!» – говорит лошади, – и по улице, в сторону... А у Раи перед глазами мясо, жилки, прожилки, вода розовая, и тишина, – упала, только подхватить успели, случайно... Вечером на улицу не пошла, легла, и мать – к отцу, и отец только спросил: – Было что с Фомой?

Головой Рая мотает. И мать Раю по плечам, по спине... А тут Фома зашёл с вечерки, дак мать – выть, носится по избе, как курица, а Фома плечи расправил, что рубаха затрещала, растянул губы, как что учуял, и тоже Раю за косу, ударил Раю, вот тогда Степан в сарай – и за нож, сцепились, как прежде, да так и застыли, словно опомнились... Ушёл Фома, дверь за собой распахнутую оставил. – Без него прокормим! – сказал Степан, и облака в глазах зашевелились, потемнели тучами... А ночью пошла Рая в сарай, хотела себя ножом

тыкать, да только мать услышала, нож отобрала... Утром Степан набил гвоздей и ножи ещё выше перевесил.

Родила Рая мальчика, стали её самокруткой звать, а самокрутка и есть... «Самокрутка идёт!» – кричали дети... А она идёт красивая, косынку повязала, коса по спине. Коляша растёт, кудрявый! Деды нянчат кудряша, лучший кусочек ему, Степан его к своему делу поближе держит, и даже ножичек даёт подержать, и шкурки Коленька сам счищает, в тазик с кровью выливает. И вечерами дома хорошо, внук кошкам кишочки, обречь кидает, они сидят, кошки ждут, когда Коленька кинет. А уж мать довольная!.. У Степана заказов много, стали побогаче жить, яйцами отдают, творогом, самогоном... С работы дед то ухо, то хвостик принесёт, играется Коленька, голубоглазый, весь в деда... Так всё и наладилось, Фома скоро женился, и Федыке нашли невесту, все оженились. Уже и на Яр другие ходят, подростки... А Райка-самокрутка одна осталась. И забыла всё, жила да жила, на сына радовалась. Как-то весной, только река пошла, двинулись лодки, катера, в деревне стало поживее, подошёл к Рае мужчина, заезжий, с района, взрослый уже, старый даже, для Райки, и спросил – не она ли дочь Степана-забойщика, у него к нему дело... Пока с отцом говорили – Раю разглядывал тихонько, потом чаще заезжать стал, частенько, потом руки поприсил.

– Ты, Рая, кончай фердибобничать... Самой лет-то уже, – говорил отец.

Рая думала. И согласилась.

– Пойду, – сказала вечером, за столом. «Колька его любит, – думала. – Играть с ним будет».

К зиме сыграли свадьбу. Иван Фёдорович, вдовец с пятилетним стажем, приехал к Ступиным, пожить, потом в свой дом возвратиться, а там хоромы целые, вдовьи... Отгуляли дома, не громко. Мясо на столе, Иван Фёдорович подвёз консервов и вина с этикетками. Хороший стол получился. А Рае платок красивый привёз, отрезом окутал, и вареники, с зелёной ниткой... Мать узнала, нитку-то... Блестящая, зелёная... «А пусть живут, человек серьёзный», – думала мать, провожая Коляшу в школу... А Коляша, лет девяти, наверно, был, как-то вечером сказал деду:

– Не убивай скотину, жалко, – строго так сказал, тихо.

И бросил Степан своё дело, враз. Ножи пропали, или кому подарил, или спрятал. Никто не видел более. Обмяк весь, котят топить матери – и то запретил. Только с внуком в лес, или на рыбалку. Поймают жука какого – и рассматривать его, брюшко, да лапки пересчитают. А по весне говорит внук:

– Хочу, деда, на гармошке научиться.



Ну тогда и гармошечку купили. Тальянку. Играет Коляша вечерами, чубчик свесив, локоточки в сторону, и улыбается, по половицам котята скользят, ходить учатся. Иногда Рая просто садилась на табурет, с тряпкой в руках, и слушала Коляшу, бабку вспоминала, улыбалась, как хорошо, вот кунку-то не уберегла, вон какое сокровище с этого вышло... Тихое счастье поселилось в доме, никто о нём не говорил, вслух, но каждый переживал его по-своему.